
Та,
которую
зашила
река
Flawiya KostaLO

Flawiya KostaLO

# Та, которую зашила река

«Автор»
2026

**KostaLO F.**

Та, которую зашила река / F. KostaLO — «Автор», 2026

Весна Костенецкая молчит двадцать два года: в её роду словом платят, как деньгами. Зато она слышит то, чего мёртвые не успели сказать.Когда на лёд у её окна кладут зашитую изнутри женщину, мёртвая просит не о мести: «не гасите свет». И зовёт Костенецкую. А Костенецких в Наволоке двенадцать лет как нет.Дознаватель Кречет верит не дарам, а бумаге. В бумаге сорок имён, и Весна — сорок первая строчка, которую он не впишет. Но по той же бумаге он обязан сдать её наверх, в палату с подушкой.Чтобы остаться в деле, Весна сшивает себя с ним воедино. Плата — её имя: теперь его называют другие, а она не может. Развязать их можно только через одного из них. И кто-то в Наволоке уже начал счёт — не до ста, дальше.

© KostaLO F., 2026
© Автор, 2026

# Flawiya KostaLO
# Та, которую зашила река

**ТА, КОТОРУЮ ЗАШИЛА РЕКА**

Цикл «Пепельный приказ» · Книга первая

*Тёмное романтическое фэнтези · 16+*

**АННОТАЦИЯ**

В Наволоке мёртвые говорят только с ней — и молчат о главном. Когда на лёд у окна Весны Костенецкой кладут женщину, зашитую изнутри, мёртвая просит не о мести: «не гасите свет». Дознаватель Демьян Кречет не верит в дары, но верит протоколу, а в протоколе сорок имён, и одно из них — имя её матери. Чтобы остаться в деле, Весна сшивает себя с ним воедино и платит тем, что не вернуть: своим именем. Теперь их не развести ни приказу, ни реке. И кто-то в Наволоке уже начал счёт — до триста сорока.

**ГЛАВА ПЕРВАЯ**

***Мёртвая просит не гасить свет***

В ту ночь, когда я впервые услышала мёртвую, в доме горели все семь лампад, и всё равно было темно.

Семь — столько, сколько колен у Костенецких. Мать зажигала их на всякий случай, то есть каждый вечер, как все в Наволоке зажигали по три: три — чтобы свои не заблудились в дверях. Семь — значит, ждали кого-то дольше, чем на одну ночь. Я об этом думала потом. А в ту ночь я просто не вставала.

Люба закричала на рассвете, когда снег за окном сереет и кажется, что до утра уже можно дышать.

Я сначала посчитала: один, два, три. Мать учила: «Молчи, пока они сами не попросили». Люба мне не семья — Люба мне съёмщица нижнего этажа, платила в срок и не спрашивала, почему у меня зеркала завешаны. По нашим с матерью законам это было почти родство, но не настолько, чтобы вставать.

Она закричала ещё раз — не от страха, от того хуже, от узнавания.

Я встала.

— Она в воде, — сказала Люба, когда я пришла вниз босиком по льду, который у нас вечно стоял между печкой и дверью. — Весна, она в воде и она меня зовёт. Она Настя. Моя Настя.

Настя у Любы утонула четыре года назад, в купальню пошла с подругами, и это в Наволоке дело обычное, как насморк. Люба тогда не плакала, а ходила по дому и переставляла вещи с места на место, и я молчала, потому что умела только это.

— Открой ставню, — сказала я.

— Не надо.

— Открой, Люба.

Она открыла. За стеклом, в три аршина от подоконника, там, где река делает под ледяной коркой чёрный поворот, под водой кто-то шёл.

«Идёт» — плохое слово. Двигалось, как двигается ткань, если её тянут с того берега. Девочка. Светлые волосы стояли в воде вертикально, вверх, как трава. Голову она держала ровно и смотрела в стекло — не на нас с Любой, а на одну меня, потому что я стояла ближе к раме.

И вот тут я услышала.

Я этого не ждала. В Наволоке все знают, как говорят мёртвые: негромко, сквозь воду, и не тем голосом, каким говорили при жизни, а как будто говорят из чужой горницы, через стену.

У Любы Настя просила: «Мам, мам, пусти, тут холодно, мам». Это был тот голос, который мёртвые берут у воды, и он всегда звучит один и тот же раз, потом вода его забирает назад.

Я ждала, что Настя скажет Любе то, ради чего её держат у стекла, — матери всегда говорят что-то такое, после чего человек на три года становится аккуратнее.

Она посмотрела на Любу, потом на меня — и сказала не Любе.

— Не гасите свет.

Голос был молодой, злой и взрослый, чужой, и я сразу поняла: это не Настя.

— Он зашивает, — сказала девочка под водой. — Свет не гасите, он по свету ходит. Скажите Костенецкой. Скажи Костенецкой, слышишь, ты, у которой семь лампад.

Люба схватила меня за рукав.

— Ты слышишь? — спросила она. — Весна, ты слышишь?

— Слышу, — сказала я.

Это было первое слово, которое я произнесла вслух за двадцать два года, и я помню, как меня передёрнуло от собственного звука: за слова в Наволоке платят, а я двадцать два года не тратилась.

Девочка под водой открыла рот шире, чем может быть у живого, и дальше пошло не слово, а звук, на который у меня нет имени: будто кто-то тянул из-под её челюсти нитку. Люба завыла. Я зажмурилась, а когда открыла глаза, на льду, у самого поворота, лежала нога. Потом вторая, а между ними — остальное, вынесенное на лёд, как выносит всякую дурь, которую река не удержала.

И тогда я услышала второе.

Под голосом девчонки, под её «не гасите свет», глубоко, так, как слышно бывают подо льдом удары дна, лежал чей-то другой голос. Он не говорил. Он дышал в мою сторону. Я не смогла бы описать, что в нём было: если мёртвый под водой — это пискнувшая в темноте мышь, то это был тот, кому эта темнота принадлежала. Я не испугалась. Я поняла, что надо не дышать, и стояла, и считала: один, два, три, четыре, не дыша, как учила мать, когда на реке появляется что-то большое.

Оно меня не достало. Оно меня запомнило — я почувствовала это буквально, как ложатся пальцы на висок, чуть холоднее, чем нужно.

Потом ударили в колокола на Островной, семь раз, не траурный, а приказской набат: в Наволоке у смерти есть три звона, и четвёртый — когда Кромешный приказ забирает дело.

Люба села на пол и сидела, обняв юбку.

— Четыре года, — сказала она. — Четыре года я тебе не мешала.

— Ты не мешала, — сказала я.

— А сейчас?

— Сейчас, — сказала я, — надо одеться потеплее. Их много будет.

. . .

Я вышла до них. Не из героизма: я знала, как пахнет место, куда выносит, и не хотела, чтобы этот запах был во мне первым, когда они придут.

Тело лежало у кромки, где лёд переходил в шугу, — молодая, лет семнадцати, в чужом пальто не по ней, с развязанными тесёмками, хотя на реке в такое время ходят с узлами, и в руках у неё было зажатие: пять борозд поперёк ладони, как от верёвки. Я не сразу поняла, что она держала, — а поняв, села на корточки и долго смотрела.

Нитка. Тонкая, чуть блестящая, как та, из которой бабки вяжут сеть на окнах, только не белая, а цвета крепкого чая, и кончик её был выведен наружу, изо рта. Мёртвая была зашита изнутри. Не рот — нет, это было бы слишком просто и слишком понятно: нитка шла где-то далеко внутри, за горлом, там, где у человека начинается голос, и, когда вода её вынесла, натянула узел и вывела кончик.

У живых так делают, когда хотят, чтобы они не кричали, — а у мёртвых это вообще не имеет смысла, и в этом-то, я потом поняла, и был смысл.

— Не дыши через рот, — сказала я себе вслух, потому что от ниток в Наволоке бывает хворь.

Я взяла её руку — не от доброты, от привычки: у нас в роду брали мёртвого за руку, когда хотели услышать. Я тогда ещё думала, что умею только слушать; наивность, за которую, как выяснилось, платят годами.

Я не услышала ничего.

Совершенно. Ни писка, ни шороха. Абсолютную, невозможную в Наволоке пустоту, как если бы в доме, где всю ночь скрипели половицы, утром вынесли пол. Мёртвая была пуста до дна, и пустота была сделана руками: ровно, аккуратно, с узелком.

Я сидела на льду и держала чужую мёртвую девочку за руку, и в голове у меня было чисто, страшно чисто, как бывает после ушиба, и я подумала совершенно спокойно, не своим голосом: «Костенецкие, вы опять».

Потому что так — чисто — у нас умели делать только двое: палач и тот, кому палач отдавал свой нож.

За спиной заскрипел снег. Я не обернулась: в Наволоке по льду с той стороны идут только те, кому не нужно спрашивать разрешения, и я знала, что у меня на спине сейчас появится тень, и когда появилась, она была одна.

— Вы держали её за руки, — сказал голос.

Я встала и повернулась. Высокий, в сером пальто не по погоде — тоньше, чем нужно, и без единого снега, — лицо молодое, а волоса седые, не серебристые, а пепельные, ровно, как выгорает на печи ткань. Не старик. Я посмотрела на его руки: тонкие пальцы, и на тыльной стороне, там, где у писцов чернильное пятно, — серый, въевшийся след, как от пепла, который не смывается, потому что это не пепел.

— Я держала её за руку, — поправила я. — Одну. Второй я тёрла глаза.

— Вы пришли до сторожа.

— Я живу вон там. — Я показала. — Мне двадцать минут, вам — сорок, если вы шли приказским шагом и заходили на мост.

Он посмотрел на меня так, как смотрят на строчку, которую надо перепроверить.

— Имя.

— Костенецкая.

— Вы из тех?

— Из тех, — сказала я. — У меня семь лампад и ни одного жениха, всё как положено.

Он на секунду отвёл глаза — не смущаясь: он смотрел на мои руки, а я всё ещё держала в ладони кончик нитки, и надо было её бросить, и я почему-то не бросила.

— Отдайте, — сказал он.

— Это не вещдок.

— Это не вещдок, — согласился он, — потому что вещдока ещё нет, а вы уже держите в руке то, чего не было ни у одной из первых трёх.

— Четырёх? — переспросила я.

Он не ответил. Он протянул ладонь, и, глядя ему в лицо, я положила туда нитку, как на блюдце, и отдала — и это была единственная воля, которая у меня оставалась на то утро, и я её потратила не туда.

— Кречет, — сказал он. — Дознаватель.

— Весна.

— Вы слышали её, Костенецкая?

— Она не моя, — быстро сказала я. И тут же сказала то, чего знать не могла: — Она из Сузды. Я её не знаю, я вообще…

Кречет поднял на меня глаза, и я замолчала, потому что поняла: я не видела на ней ничего, по чему можно узнать Сузду, — ни платка, ни обуви, ни метки, — но имя деревни вылетело из меня раньше, чем я успела его проверить, как вылетает слово, которое тебе подсказали.

— Вы слышали её, — повторил Кречет и не спросил. Он сказал это тем тоном, каким в приказе пишут: «имеется», и я поняла, что это уже записано, в той книжке, которую он носит во внутреннем кармане, и что слова «молчи» для него нет.

Я посмотрела на реку. Лёд на повороте был цел. Ни трещины, ни полыньи; под коркой, на аршин глубины, лежала вода и в ней ничего. Она не могла прийти сюда, не растоптав лёд; она не могла быть вынесена, не оставив борозд; и лёд был чист.

— Она не из воды, — сказала я вслух, и мне стало холодно по-настоящему. — Её сюда положили.

Кречет смотрел на меня. Ветер с Чёрной Реки шёл вверх, по течению, как всегда, и от него всегда пахнет чужими словами, а тут не пахло ничем, и он это тоже почувствовал, и оттого, как он это почувствовал, у меня по спине прошло то самое, что бывает перед тем, как назовут фамилию.

— Что она сказала? — спросил Кречет.

Вот тут я сделала вторую ошибку. Я посмотрела на свои ноги, на снег, на нитку в его руке и ответила — не потому, что захотела, а потому, что у Костенецких всегда так: сначала отвечаешь, потом думаешь, зачем.

— «Не гасите свет», — сказала я. — И «он по свету ходит».

Кречет убрал нитку в коробочку, которую достал из кармана, — маленькую, из тёмного дерева, с восковой пробкой, — и закрыл, и я услышала щелчок, как закрывается крышка у гроба, если он хорошо подогнан.

— Через два часа, — сказал он, — на Островной приедет приказская тройка, и они возьмут тело, и сторож напишет, что вы были тут, и допрос будет в Доме Отшествия.

— У меня есть чем топить, — сказала я, — но нет чем топить двенадцать дней.

— У вас есть то, что они хотят услышать, — сказал он. — И они заберут это не в вашем доме, потому что у вас семь лампад, а в Доме Отшествия у них есть одиннадцать.

Он ушёл по льду, и в тридцати шагах снег вокруг него перестал падать — просто перестал; хлопья стояли в воздухе, а он шёл между ними, как человек идёт между стоящими в зале, — и только когда он дошёл до берега, снег снова повалил вниз, так, будто его до этого держали.

Я стояла и думала об одной единственной вещи, очень простой, и от неё у меня онемели пальцы.

Мёртвая во льду назвала меня по фамилии.

А Костенецких в Наволоке двенадцать лет как нет: я была одна, и всю жизнь думала, что последняя.

. . .

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.